

Олег Весна

# На глубине

16+

# Олег Весна

## На глубине

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=34304425](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34304425)*

*SelfPub; 2018*

### **Аннотация**

Объясняется ли чудо рациональностью? Главный герой, профессиональный журналист, сталкивается с проявлениями чудесного и пытается разрешить их с точки зрения науки и логики. В этом ему помогают умерший дед-отшельник, друг-психолог и единственный чудом выживший в крушении пассажирского самолета заядлый курильщик.

*Еженедельник «Уикенд Таймс». Сообщение из рубрики «Происшествия за неделю»*

## **С моста в Темзу! Страшная авария на Лондонском мосту**

*Две дюжины граждан оказались свидетелями ДТП на Лондонском мосту поздним вечером 14 декабря. По словам очевидцев, водитель автомобиля BMW красного цвета, не справившись с управлением, перелетел ограждение и упал в Темзу. Утопленное транспортное средство восстановлению не подлежит. Водитель госпитализирован. Также в аварии пострадали три легковых автомобиля и доставщик пиццы на мотороллере.*

*Один из участников ДТП сообщил следующее: «BMW ехал со мной в соседнем ряду. Между нами протиснулся тот парень на мотороллере. Моросил дождь, дорога была скользкая. Я не понял, из-за чего все началось. Услышал визг тормозов отовсюду – несколько машин сразу. Вижу, мотороллер заваливается набок. Водитель BMW то ли не заметил его, то ли отвлекся. Не снижая скорости, он влетел в тормозящий перед ним Seat. В последний момент BMW пытался уйти от столкновения, круто повернув в сторону. А там я. Его занесло, боком он прошелся по моему Рено, и его бросило прямо на мотороллер, который к тому времени уже упал, а его водителя откинуло вперед – парню несказанно повезло! Мотороллер сработал как трамплин для BMW, и*

*автомобиль выбросило прямо в реку».*

*Лондон всегда славился героями. Не перевелись они среди нас и сегодня. Невзирая на ужасную погоду, пожелавший остаться неизвестным молодой человек бросился в воды Темзы ради спасения чужой жизни. Передаем слова очевидца: «Мы с друзьями стояли на парковке спортивного клуба, когда со стороны моста донеслись жуткие звуки. Визг тормозов, скрежет сминаемого металла, битое стекло – просто ад! Я увидел, что с моста вылетела черная тень – как всадник апокалипсиса. Все произошло так быстро, я не сразу понял, что это машина, и она спикировала прямо в волны Темзы. У нас случился шок и ступор. А тут какой-то парень рядом с нами скинул ботинки и прямо в куртке бросился в воду. Он настоящий герой!».*

*Как сообщили нашему корреспонденту другие очевидцы, тело пострадавшего водителя удалось извлечь из утопшего автомобиля силами смельчака, который с помощью группы кинувшихся ему на помощь лиц вытащил бездыханное тело на берег.*

*Прибывший на место происшествия экипаж кареты скорой помощи застал горе-водителя наглотавшимся воды, в переохлажденном состоянии и со следами свежих травм. Он был оперативно отправлен в больницу, так и не придя в сознание. Личность потерпевшего и его состояние уточняются. Мы надеемся, что жизнь его будет спасена.*

*Уважаемые читатели! Будьте бдительны на дорогах. И*

*да хранит Вас Господь!*

\* \* \*

Известие о смерти деда совершенно меня не взволновало. Нисколько не тронуло, столь чужим, натурально посторонним он был для меня. Когда в телефонной трубке отец сообщил обыденным басом, словно изрекал избитую житейскую банальность, что дед скончался, и задал истинно риторический вопрос, ждать ли меня на похороны, я был настолько с головой погружен в работу, что, сославшись на необозримых масштабов занятость, скоротечно отказался. Удостоверившись, однако, по тону родителя, что вдвоем с матерью они способны осилить все замороченные процедуры похорон без моей помощи и личного участия, в том числе финансового, я наскоро завершил разговор и вернулся к прерванной работе – пальцы стремительно заскользили по клавишам, воплощая в текстовом редакторе на экране ноутбука так и норовившую улетучиться круговерть мыслей, что предшествовала отцовскому звонку.

Еще без малого три дня провел я, едва не сроднившись с клавиатурой, без передышки, без отдыха, удовлетворяя лишь необходимые для функционирования брэнного тела потребности. Сроки горели, я должен был закончить статью; не смел я даже вообразить всю величину гнева, что обрушился бы на меня, случись мало-мальски значимая задержка

ка – Глен Донахью, мой издатель в «Тауэр Мэгэзин», всегда чрезвычайно строго относился к соблюдению оговоренных сроков. И надо ж было такому случиться, именно в эти дни – свалилось на меня несколько чрезвычайных происшествий, каждое из которых пришлось отработать, поскольку я вел рубрику происшествий в местном еженедельнике «Уикенд Таймс». Приученный к жесткому рабочему режиму, мозг, мне кажется, на подсознательном уровне отсекал любые внешние влияния, мешавшие выполнению задачи. А потому все дела, требовавшие выхода за пределы клавиш ноутбука, неосознанно откладывались в долгий ящик – и порой в список тех дел, которые никогда не начнут выполняться.

Спустя три дня, по случаю долгожданного окончания статьи и отправки ее Глену, мне просто необходимо было расслабиться. Откупорив бутылку красного сухого вина – я поименовал его «Шато Марго», не больше и не меньше, – я наполнил бокал, занял удобную позу на диване и с наслаждением прильнул к манящему хрусталу. Глоток божественного напитка, глубокий вдох, выдох... Жизнь прекрасна! Какое блаженство!

На втором или, быть может, третьем бокале отодвинутый на задворки реальный мир начал неспешно, но неизбежно возвращаться в сознание, и в памяти всплыл звонок отца. Завтра, на трезвую голову, мне непременно следует позвонить родителям да разузнать, как все прошло с похоронами.

Но едва я опрокинул в себя еще полстакана, как мое уеди-

нение оборвал телефонный звонок.

Глен с очередными нравоучениями, внутренне усмехнулся я, выждал театральную паузу и снял трубку. Каково же было мое удивление, когда вместо надрывного с придыханием тенора Глена, долженствовавшего извергать потоки негатива в сторону моих формулировок в статье, в ухо прозвучал спокойный приятный мужской голос, владельцем которого через полминуты разговора оказался нотариус с другого континента, который занимался реализацией завещания моего скончавшегося деда. Он сообщил, что дед завещал мне некую рукопись, и вот ее-то нотариус и намеревался мне должным образом передать. Я хотел было отказаться – к чему гонять кипы бумаг через полпланеты? – но интерес и подобие чувства долга пересилили, я вскоре продиктовал нотариусу адрес для курьерской доставки и распрощался с ним.

Повесив трубку, я вернулся к напитку а-ля «Шато Марго», но голову заполонили воспоминания из далекого детства. Правда в том, что смерть деда несколько меня не задела. Возможно, опечалила – все-таки он был моим родственником. Я вовсе не считал себя черствым и бесчувственным типом, которому на всех плевать. Но я, можно сказать, не знал деда, я едва его помнил – а что должно было вынудить меня грустить всерьез по малознакомому человеку?..

Окружающие считали деда человеком странным, обычно его сторонились. Отец рассказывал, что дед кардинально изменился по возвращении с фронта, не в лучшую, по его мне-

нию, сторону, и всеми силами старался оградить меня от диковатого старца, который после смерти жены – моей бабушки – стал отшельником. Порой отец говаривал, что деда контузило – «прямо в мозг!», – да иной раз восклицал в сердцах, что, де, лучше бы он помер, нежели срамить всю семью перед соседями.

Когда дед вернулся с войны, отец еще не был даже запланирован, а потому я не вполне-то доверял его громким заявлениям. Странность деда, таким образом, была продиктована в первую очередь мнением моей бабушки, и, возможно, других взрослых, разговоры которых мог слышать мой юный родитель. Ужасы войны изменили всех. Как деда, так, без сомнения, и отца.

Первые лет шесть с моего рождения мы втроем с матерью иногда еще навещали старика. Помню, как все дышало беззаботной радостью и здоровым весельем, как отец ранним воскресным утром заводил наш раритетный драндулет, коптящий почище паровоза, и мы выезжали, бывало, на ближайšie озера, в горы или в гости к деду. Поездка к нему занимала честные полчаса пути по вспученной барханами пустыне.

Каждый визит к старику оборачивался затем его увлекательными рассказами о военных событиях, о ранениях, о сбитом самолете противника. Помню, как мне было интересно слушать его; каждый раз он старался рассказать мне о событиях, что произошли с ним под конец войны. Я был слишком юн и наивен тогда, и воспринимал слова деда как



игру или кинематограф, а он повторял свою историю из раза в раз, рассчитывая на мое понимание. Думаю, он старался передать мне информацию, которую я просто не способен был осознать в юном возрасте. Мудрено ли, что добился старик лишь того, что своими рассказами вывел однажды своего сына из себя, после чего они разругались, и мой отец, безуспешно пытавшийся запретить своему отцу пичкать меня «бредовыми историями», отказался от будущих поездок. Я был мал и глуп, но после того страшного скандала, отголоски которого до сих пор как будто бы звенят у меня в голове, отец прекратил не только навещать деда, но и вообще всяческое с ним общение, и я больше не слышал историй о военных днях моего предка.

Прошли годы, что заставили меня позабыть о чудаковатом дедке и его не менее чудных рассказах. И вот на руках у меня оказалась рукопись, что он завещал мне после своей смерти, и которую спустя всего пару дней после звонка нотариуса доставил курьер. Рукопись, в которой дед описал все то, что пытался рассказать мне и в чем не преуспел в свое время.

Теперь я располагал достаточным запасом времени, чтобы позволить себе настроиться на ознакомление с дедовским наследием – после сдачи статьи Глену я выслушал все его недовольства и оперативно внес необходимые правки. Устроившись в кресле, я повертел в руках помятые листы, исписанные вручную аккуратным почерком, и углубился в чтение.

\* \* \*

Моего брата звали Джефффри Роуд-младший, и он был старшим из нас двоих. Мой отец носил имя Джефффри Роуд-старший, а меня нарекли Кеном. Кеном Роудом.

Брат был старше меня на восемь лет. И я искренне любил его. Джефф уважал меня, защищал, оберегал от хулиганов. Он был настоящим, всамделишным, самым что ни на есть аутентичным старшим братом, которым просто невозможно не гордиться. И я гордился! Отцом так не гордился, как братом. Наверное, потому, что отца я знал не долго – тот умер, когда я был совсем еще мальчиком, и брат невольно заменил мне отца.

В Джеффе я видел воплощение идеального брата, да что там – идеального человека! В нем для меня просто не было недостатков. Ни одного недостатка. Джефф был красив, статен, во взгляде его всегда читалась доброта и величие. Девчонки стайками кружились вокруг него, каждая жаждала заполучить лишнюю минутку его внимания.

И всякий раз, как пытался я рассказать ему о своих чувствах, о своем желании походить на него во всем, брат неизменно и настойчиво советовал мне держаться подальше от любого идеала. Идеальных людей не существует, говорил он, и если ты встретишь того, кто покажется тебе таковым – беги от него без оглядки, как от огня.

– А ты, ты же такой, – едва не прокричал я ему в ответ.

– Ты ошибаешься, Кен. Когда вырастешь, поймешь. – Ах, этот пронзительный мудрый взгляд в его пронизательных глазах, этот завораживающий голос, наполненный совсем недетской серьезностью...

Но я все никак не мог вырасти, чтобы понять.

Джеф, я уверен в этом, играл фуги Баха лучше самого Баха – не зря провел сколько-то лет в музыкальной школе, которую был вынужден бросить сразу после смерти отца, дабы начать зарабатывать на пропитание для семьи. Его пианино пришлось продать. А если бы ситуация позволила ему продолжить обучение – я уверен, он стал бы самым именитым пианистом во всем мире!

Я никогда не завидовал ни ему, ни его победам. Наоборот, я был горд, что у меня такой замечательный брат. А он всегда помогал мне и поддерживал во всех начинаниях.

Но однажды Джеф не вернулся домой. А на следующий день мать, вся в слезах, объявила, что брата больше нет. Для нее это была потеря не только сына, но и кормильца – второго после смерти отца.

Я никак не хотел принять то, что Бог забрал Джефа, и я больше никогда не увижу его. Какие-то хулиганы воткнули в него нож? Разве же это возможно? Как мог он оказаться не в том месте и не в то время? Почему он? Как вообще Господь позволил этому случиться?

Когда брата не стало, я проплакал, кажется, целую

неделю без остановки. Для меня это была самая страшная трагедия в жизни. Никогда прежде столь сильное горе еще не касалось меня. Тогда я познал, что такое боль. И что значит испытать ужас потери. Со смертью Джозефа я лишился частички себя, потерял счастье, любовь, утратил покой и, пожалуй, ослаб в своей вере – в людей, в Бога, в справедливость. Страх стал преследовать меня по ночам, заставляя просыпаться в липком поту.

Но не этот страх был первым наваждением в моей жизни. С раннего детства я панически боялся воды, темной и бездонной морской глубины. Страх ее, видимо, я приобрел после того, как однажды, тогда еще втроем с братом и отцом, мы отправились купаться на океан, как делали это неоднократно. Плавать я не умел, поэтому в мое распоряжение был отдан яркий надувной матрас. Брат с отцом накупались вдоволь и отправились на берег, я же отказался выходить из воды и с их дозволения продолжал нежиться среди волн под согревающим солнцем.

Полагаю, что скоро меня разморило, и я уснул. А вслед за тем... из глубин памяти восстают лишь жуткие, будоражащие воспоминания – бесконечная иссиня-черная темнота, приглушенные звуки, отбивающее ритмичный стук сердце да панический, непреодолимый первобытный страх... Настоящий ужас, перевозанный, животный, необузданный кошмар. Я не помню событий, не помню окружающего мира – только лишь этот леденящий ужас.

*В тот день я едва не утонул. Брат спас меня. А может, отец. Я не знаю. С той поры я панически начала бояться глубины. Если случалось выйти на пляж и искупаться, то лишь там, где под ногами уверенно чувствовалось дно.*

*Страх глубины отчасти стал определяющим в деле выбора профессии. Родители прочили Джефффри в летчики. И я стал летчиком – но так во многом распорядилась судьба, война и мобилизация. Став военным летчиком, я как бы пассивно старался завершить то, что мог бы, но не успел, сделать брат. Мне хотелось взметнуться высоко в небо, стрелой рассеять облака, воспарить словно птица.*

*Незадолго до ухода на фронт я узнал, что Джефф последние годы своей жизни являлся с жуликами и бандитами, да и сам относился к их числу, совершал антисоциальные поступки и разного рода грабежи – но ведь ему приходилось тянуть на себе нас с матерью, и таковым оказался его способ не дать нам окопаться с голоду; смерть он принял от рук своих преступных поделывиков. Новость эта дошла до меня от совершенно посторонних людей, и тогда сложились невнятные до того кубики мозаики – отстраненность матери в отношениях с Джеффом, его слова об идеальных людях, его нежелание посвящать меня в свои темные дела.*

*Я обратился к матери с вопросом, известно ли ей было об этом, и гневно и настойчиво требовал ответа, почему она молчала, почему ничего не делала, чтобы вернуть Джеффа, предотвратить его гибель? Расспросами я довел мать*

до слез, она призналась, что хотела сосредоточиться на заботе обо мне, уже нисколько не надеясь на возможность возвращения Джозефа к нормальной жизни. Она поставила на нем крест – уже тогда, за несколько лет до трагедии.

Но для братской любви такая правда не возымела никакой силы, она не могла поколебать моего отношения к Джозефу. Я лишь укрепился в мысли, что только так и мог он не позволить нам с матерью превратиться в обитателей помоек. Он упорно делал дело, тянул ляжку, нес свой крест. Метод был выбран не лучший, но цель он преследовал благую. В отличие от матери, которая безропотно принимала приносимую сыном пользу, чем лишь глубже закапывала его, заставляя увядать в омуте преступности и порока. Мать даже не пыталась вернуть сына. А ведь только она и была в состоянии спасти Джозефа. Но она фактически отказала ему в помощи. Бросила родное дитя на погибель.

Я так страшно озлился на мать, что это определило мою дальнейшую судьбу – при первой возможности я ушел волонтером на фронт, хоть мне не стукнуло еще восемнадцати – лишь бы подальше от матери. И стал военным летчиком.

Когда наступил тот роковой день битвы с японцами в Филиппинском море, страх моря, ужас глубины и отчаяние перед Марианским желобом – глубочайшей точкой планеты – сотрясали меня от пяток до кончиков волос.

Невзирая на поздний октябрь, солнце жарило необычай-

но. Но пронзавший пот был вызван не только и не столько погодой. Ранним утром мы были подняты по тревоге и вылетели навстречу вражеской авиации. Нас было больше, но, тем не менее, каждый из нас чувствовал, что потомки самураев пойдут до последнего. Мандраж, адреналин, азарт! Шанс доказать, что мы, совсем еще юные пилоты переброшенного сюда несколько дней назад корпуса, тоже способны побеждать и быть лучшими. То был мой первый реальный бой. И что бы там не говорили потом самодовольные генералы, но среди нас были не только опытные пилоты, но и подобные мне новички.

Нам предстоял настоящий бой, и мы, черт возьми, радовались этому, словно дети! Адреналин в крови, на языке молитва, в сердце любовь к родине, в душе – вера в победу. Мы должны победить! И мы должны вернуться.

Все, что происходило дальше, я помню лишь урывками. Моя потрепанная боями и годами память уже не способна воспроизвести все, что случилось, в деталях. Но в тот роковой день я видел все предельно отчетливо и ярко.

Одна стальная стая набросилась на другую. До сих пор помню свирепый, но полный удивления взгляд японского пилота и его выпученные глаза, когда его «Зеро» был атакован моим истребителем. Все закончилось за какие-то мгновения. Лобовая атака, попадание в прицел, нажатие на газетку... «Зеро» задымился и вспыхнул прямо передо мной.

То была моя первая военная победа. И почему-то тогда

и мысли не возникло, что я убил человека – была лишь радость победы над врагом. Не над живым человеком – над врагом. В такие моменты понятие врага и человека становятся по разные стороны. Спустя годы я многократно просыпался по ночам в холодном поту и видел в ужасном кошмаре эти раскосые глаза и пронизывающий взгляд. Но все это было много позже. В тот же день я был полон азарта и беспричинной радости от убийства.

Машины резко бросило в сторону, но разорвавшийся бак подбитого «Зеро» откинул часть остова прямо на меня, и я услышал хруст и лязг обшивки. Машина потеряла управление, и меня «повело».

Как ни пытался я вернуть контроль в свои руки, истребитель отказывался подчиняться моим, возможно, бестолковым в тот момент командам. Потом я не услышал даже – ощутил, – как по обшивке пролился свинцовый дождь вражеской атаки, и почувствовал запах гари; жар в кабине стал невыносим. В ушах стоял неопишуемый гул, шум и гвалт. Еще какое-то время – не знаю, сколько, – я честно пытался бороться, а потом наступила какая-то сонливо-апатичная тишина; смолкло все – и шум, и грохот, и завывающий звон... Нет, весь этот фон был, но где-то далеко-далеко... Мои попытки что-либо предпринять оказались безуспешными, и под конец мне осталось лишь покинуть истребитель. Я выбросился из горящей машины, и перед моими глазами во все стороны раскинулись безбрежные воды.



*Помню сильный ветер, который нещадно избивал внезапными порывами, уносил прочь мое израненное обгоревшее тело, запутывая стропы свистящего парашюта. Но все это уже не имело значения. Гнетущая апатия, охватившая меня еще в кабине, только усилилась. Внизу простирались бурлящие пенистые воды, всхолмленные волнами. Меня несло туда. Вниз. В океан. На глубину.*

*Не помню, как я оказался в воде. Помню лишь ощущение страха, разбавившего безликую апатию и сковавшего меня в тиски. Детский кошмар, преследовавший все эти годы. Я оказался в воде. Где-то в районе самой глубокой точки Земли, у Марианской впадины. Один, без плавсредств, на расстоянии сотен миль до ближайшей суши.*

*Я осознал, что история моей жизни подошла здесь к развязке. Никто не станет разыскивать пилота в разгар боевых действий. Быть может, только японцы, дабы пленить, или акулы, чтобы подкрепиться. А большие в тот момент я никому не был нужен. Оставалось лишь наглотаться воды, прежде чем первая заметившая акула решит попробовать меня на вкус.*

*Наверное, сначала я отделил ножом парашют – этого я не припомню, но иначе он обездвигил бы меня.*

*Я погружался все глубже в пучину океана. Вода после очередного вдоха забила в легкие; я помню, как тело судорожно сотрясалось в потугах к кашлю. Глубина молниеносно приближалась, вызывая к панике. Вскоре солнечные лучи пе-*

рестали достигать моих глаз, и все скрылось в крошечной тьме. Вокруг – задумчивое и размеренное безмолвие. На самом краешке живой вселенной, которая с каждым мигом стремительно удалялась прочь, едва заметно громыхало.

Я думал о брате. Я был рад, что здесь и сейчас не он, что не ему испытывать этот страх, эту удручающую безысходность. Еще я кричал на него, кричал, чего не делал никогда прежде. Кричал, потому что он умер и не мог мне теперь помочь. Никто не мог мне помочь. Но он... он-то всегда помогал, а сейчас его не было рядом.

Мальчики не плачут. Мужчины тем более. Летчики и по-прежнему. Вокруг меня были соленые воды моря, и все же было сложно отделить их от слез. Что окружало меня в тот миг – воды океана или слезы?..

Бесконечное отчаяние. Холод сковал тело; легкие наполнились водой; лишённые осмысленности и бесполезные барахтанья тянули меня вниз, все дальше от солнца, в глубину, где нет ни света, ни жизни. В Марианскую впадину.

Чем дальше я находился в воде, тем меньше меня волновали акулы. Перед носом проносились стайки рыбешек. Мое скрюченное спазмами тело сдавливали миллионы тонн воды, и я понимал, что вот-вот спектакль моей жизни прервется.

Далекое громыхание сопровождало мое вынужденное погружение, но в определенный момент оно переросло в невообразимый гвалт. Словно весь мир разом заголосил. И, в то

же время, звук этот представлялся предельно легким, умиротворяющим, гармоничным, напоминая порядок, установленный самой природой.

Музыка, внезапно осознал я! Мелодия глубины на языке океана. Симфония, заполнившая все вокруг, затмила собой шум и гвалт; одновременно веселая и печальная, добрая и с оттенком пугающей темноты, радостная и грустная, и бесконечно прекрасная.

Находясь на глубине, без надежды на спасение, я наслаждался полифонией океана, готов был подпевать, впуская в наполненные водой легкие все новые и новые порции губительной влаги.

Мелодия была живой. Удивительной, чуткой, изящной. Она словно подстраивалась под меня, окутывая наслаждением. Эта музыка, казалось, знает, чего жаждет душа и к чему стремится сердце. Я тонул, но был счастлив. Я умирал, но был живее, чем когда-либо прежде.

Время замерло, фронтанируя имманентным движением по изгибам ленты Мебиуса в оксюмороне исчислимой бесконечности.

Среди раскатов симфонии я различил хоровое пение. Гармоничное многоголосье, наполненное удивительной жизненной силой, одновременно трепетное и сильное. Стали различимы отдельные смыслы, не слова даже, но живые образы, потоки сознания. И все большие этих потоков я начинал понимать... Нет, не понимать даже, но осознавать, и, не

побоюсь этого слова, – чувствовать. Я чувствовал проносящиеся мыслеобразы, воспринимал проходящие сквозь меня картины и пейзажи, но не мог зафиксировать их, осмыслить и осознать.

Вокруг не было уже ни воды, ни глубины, ни страха, ни переживаний. Неупорядоченные мысли, калейдоскоп смыслов, иррациональная реальность, обособленное сознание, всемогущий логос... Мне открылось иное видение, стало доступно понимание всей глубины воспринимаемой информации, я узрел нечто ранее недоступное моему пониманию.

Они издревле населяли планету. Они жили в гармонии с миром, были неотъемлемой частью природы. Хранителями истории называли они себя. И когда солнце из дарующего жизнь превратилось в светило, несущее радиоактивную опасность, они ушли под воду, и продолжили стеречь и оберегать гармонию мира. Ценой множественных смен поколений пришедшие вслед адаптировались к лучам убийственно-го солнца.

**Дикари, чья короткая жизнь пролетает под безжизненными лучами солнца.**

В льющейся музыке мыслящего сознания я различаю этот голос. Не голос даже, а поток информации, сформулированной не словами, но мыслями.

**Тысячелетия бесконечных войн отточили в вас жестокость и ярость, злобу и воинственность. Вы источаете желание разрушать, крушить и уничтожать. Вы**

**наполнены аномальным стремлением к истреблению. Ваша сущность – вечное сражение, бесконечная битва.**

*Они обвиняют нас в жестокости. Но разве не агрессия позволяет выживать, побеждая врагов? Разве это не главный локомотив эволюции?*

**Вы оцениваете мир только с позиции превосходства и лидерства. Если что-то сопоставимо с вами по силе, вы обрекаете его на уничтожение. Если слабее – вы поработите его, поставите ниже себя. Каждый – враг. Вы не можете не быть единственными в окружающей вселенной.**

*Мы воинственные, но именно наша воинственность позволяет нам добиваться цели. Это закон эволюции. Из примитивной обезьяны за несколько тысячелетий человечество превратилось в высокоразвитую цивилизацию. Вы же сбегали прочь, под воду, на глубину океана, стоило столкнуться с проблемой.*

**Вы – скоротечное средство, но неверная цель. В вас заложено имманентное соперничество – со всем окружающим, с природой, с самими собой. Непрерывные войны. Когда вам не с кем бороться, вы убиваете себе подобных. Вы не признаете равенства. Вам важно только превосходство. Сама идея мира отринута вами прочь. Вы разрушители. Ваша сущность – вечный мятеж. Мы не приемлем борьбы, создаем гармонию, творим мир. Стоит нам предстать перед вами, и вы всеми силами старае-**

**тесь нас уничтожить. Вы не способны поддерживать мир и гармонию. Вы только разрушаете, вы не способны творить.**

Нет, пытаюсь я ответить. Мой брат – пример обратного. Как же его бескорыстное желание творить? Его добрейшее мирное существо? Он являл собой истинного, идеального, наичеловечнейшего человека, самого достойного из людей.

**Вы восхваляете избравших путь созидания. Тех, кто своим существованием и действиями создает внутренний мятеж. Вы возносите творцов среди вас, но они есть ваша болезнь. Не свет восхваляете вы, но то светлое, что есть во тьме.**

Каждый человек – индивидуальность! Нельзя оценивать всех. Нужно рассматривать каждого в отдельности. Есть недостойные, но есть и другие!

**Цель индивидуальной особи – произвести потомство, главных кандидатов на истребление другими претендентами. Ничтожен вклад в развитие племени от всей прожитой жизни одной особи.**

Мы наступаем на одни и те же грабли, учимся только на своих ошибках. Лишь малая часть накопленного жизненного опыта передается потомкам. Все это так. Мы воюем друг с другом. Мы убиваем себе подобных. Мы выбираем себе владык и слепо следуем за ними, их глупостью и амбициями. Алчность одного приводит к лишению жизни многих.

*Жизнь одного человека лишена ценности. Мой брат, самый достойный из людей, так рано и так нелепо был лишен жизни. Кто в ответе за это?*

*Люди гибнут, и я погиб, и никто ничего уже не сможет с этим сделать. Вы, какими бы созидательными ни были, способны ли Вы что-то изменить? Никому не под силу переделать человечество. Наши войны суть неизбежный эволюционный процесс, таковы законы природы.*

*Вы тонете в созидательном омуте, не имеете стремлений и навыков к разрушению, а, значит, даже обладая самой возможностью, не способны уничтожить нас, как бы сильно не желали нашей гибели. Вам остается лишь бесконечно рефлексировать; зависть к нашей свободе душит Вас. Мы противны самому Вашему существованию. Мы свободны, а Вы лжете сами себе.*

*Я уже мертв, и мои слова не ускорят смерти. Мне нечего бояться. Каким бы богомерзким не было человечество, мы готовы себе в этом признаться, а вы просто лжете, полемизируя о гармонии и созидании. Можете ли вы противостоять разрушению моей жизни? Способны ли вы здесь и сейчас проявить свою силу?..*

*Ответа не последовало, и больше я не слышал музыки сознания. Постепенно уши наполнил гул, я начал ощущать темноту вокруг. Меня скрутила резкая боль, я захлебнулся. Океан... Глубина... Где-то в стороне я увидел едва пробивающийся сквозь толщу вод лучик света. Спасительное солн-*

*це! Я распрямился и со всем возможным усилием направил к нему обессиленное тело.*

*Каждое движение давалось с трудом. Тело едва подчинялось сознанию. В легкие забились вода, спазмы скручивали тело, но я уверенно продвигался вперед, к разрастающемуся свету, и давившая на меня тяжесть становилась все меньше, а искра надежды разгоралась все сильнее. Отринуть сомнения, перебороть страх и бессилие, и двигаться, двигаться, двигаться – только вперед!*

*Сколько-то еще времени я боролся со своевольной водной средой. Когда я вдохнул спасительный воздух, а солнечный свет обласкал лицо, перед глазами предстали возвышавшиеся в какой-то тысячи футов скалистые берега, о которые разбивались пенные валы.*

*Я помню, как плыл, выбиваясь из сил, но наполненный надеждой и желанием жить. Я не утонул, не был съеден акулами. У самого берега меня заметили люди, которые оказали помощь. Меня поместили в госпиталь в Хагатне. Значит, мой бой не был напрасным.*

*Как мог я оказаться в такой близости от Гуама? Позже я узнал, что несколько дней меня считали пропавшим без вести. Несколько дней с тех пор, как случился бой!*

*Это не поддавалось разумному объяснению, ведь даже если бы все это время я плыл без остановки, то не смог бы преодолеть расстояние от места падения самолета до острова. Да я и не припомню, чтобы плыл так долго. В голове*



остался лишь разговор с Хранителями. Разговор, которого никак быть не могло. Это должен был быть бред утратившего разум утопающего!

После возвращения на родину и прохождения лечения я многие годы последующей жизни вспоминал о тех событиях на глубине океана. Размышления последующих лет почти убедили меня в вымысле описанных событий. Доктор Руберг объяснил это подсознательной необходимостью сочинить историю, дабы не сойти с ума, а рациональное объяснение, мол, кроется в том, что самолет, по всей видимости, упал в воду значительно ближе к острову, чем мне казалось, и в водах океана я провел куда меньше времени.

Застывшие в голове картинки, круговерть событий, карусель воспоминаний – все ложь? Что из выплеснутого мной на бумагу является правдой – ложность воспоминаний или всамделишность пережитого? Дольше я пребываю меж этих двух недоправд, принимая одно из двух: или мое сознание замутило, или наш мир населен кем-то, чем-то иным – там, в самых недрах, на глубине. Или – или. Одно из двух.

Но, приближаясь к полному своему увяданию, я все сильнее склоняюсь к мысли, что такая двойственность мнима, что это ложная дихотомия. Оба варианта и верны и ложны одновременно, и ни один из них не является истиной. Я чувствую, верю, принимаю, что есть неучтенное третье. Возможно, четвертое, пятое, сто двадцать пятое. Да и возможно ли вообще постичь, что истинно и что ложно?

*Правомерна ли вообще дуальность, деление на черное и белое, правду и вымысел?*

*Многолетние размышления вкупе с нередкими воспоминаниями о Джеффри как будто бы приблизили меня к пониманию недостижимости того идеала, о котором говорил мой горячо любимый брат. Идеал – это застывший и неживой слепок, обезличенная картинка, вырванный из контекста сюжет, мимолетное отражение, замершее движение. Как и деление на черное и белое без возможных оттенков, так и понятие идеала немислимо в имманентной динамике жизни, где все скоротечно и подчинено неостановимому движению мироздания.*

*Наша жизнь – череда этапов: две дюжины лет глупости, две дюжины лет метаний и две дюжины лет увядания. Проходя каждый из этапов, следует стремиться к субъективно видимому личностному идеалу, отражению никогда не достижимой цели, которое ощущается прямо здесь и прямо сейчас. Завтра идеал неизбежно сменится – еле заметно или кардинально. Ведь идеал – безжизненная оболочка, несовместимая с движением, с самой многогранной и необъятной жизнью.*

*Нет и быть не может идеального человека. Каждый, со всеми недостатками, должен стремиться к собственному идеалу, но достичь его осуществимо лишь посмертно. Хронический поиск без конца и края.*

*В результате этого нескончаемого поиска попадают*

*те, кого любим мы и кого наша любовь способна в наших же глазах превратить в идеал. Не следует делить на черное и белое, истинное и ложное. Любить – принимать все оттенки, весь видимый и скрытый спектр ощущений, эмоций, чувств, восприятий. Любить следует живого, настоящего, меняющегося человека, принимать его со всеми недостатками, особенностями и изъянами. Лишь тогда он становится для нас истинным идеалом.*

\* \* \*

Содержимое рукописи невольно погрузило меня в ностальгический мир воспоминаний из далекого детства. В памяти всплыли давно забытые рассказы деда о войне, самолетах, японском летчике; даже образы таинственных хранителей из глубины океана замаячили перед глазами как живые – мой разум, совсем еще незрелый четверть века назад, хранил в глубинах памяти истории предка, улетучившиеся с годами последующей жизни. Вспомнилось мне необоснованное старческое беспокойство перед водоемами любого вида, вплоть до полного запрета купаться – великие страхи обуревали деда во времена моего детства, когда случались еще эпизоды нашего общения.

Просидев в задумчивости некоторое время, окруженный нахлынувшими детскими воспоминаниями, я повторно взялся за рукопись, дабы постараться вникнуть в текст, отда-

лившись от сугубо субъективного восприятия, продиктованного ворохом размышлений. Но ни повторное прочтение, ни последующее не избавили меня от ностальгии и небрежной, какой-то ребяческой улыбки на лице. Не получалось у меня отнестись к произведению предка с должной индифферентностью и серьезностью.

С каждым прочтением я машинально перевоплощался в эдакого Глена-издателя, готового придраться ко всему – неровному стилю изложения, сбивчивому сюжету, слабым причинно-следственным связям.

Отложив неоднозначное чтиво в сторону, я озадаченно откинулся на диване. Что старик хотел сказать-то? И по какой причине решил он направить мне свое «наследие»?

Хотелось или довериться ветерану войны, отыскав разумные обоснования всему прочитанному, или уличить его во лжи и бесповоротно выбросить затем из головы. Встать на ту или иную сторону непросто, когда дело касается родства по крови, и поэтому мне было вдвойне сложнее определить, что это – неудачная игра в романтику выпавшего из реальности одиночки или самый что ни на есть обыкновенный старческий маразм.

Какую идею хотел донести до меня дед в романтической обертке с неведомыми хранителями? Быть может, идею о том, что все мы порой опускаемся на глубину, все глубже и глубже, прочь от света, в холод и мрак, – опускаемся, что-то неизбежно теряя и уже не надеясь что-либо приобрести вза-

мен, а когда оказываемся в неведомой дали, в самой глубокой точке нашей внутренней, подсознательной, системы координат, приходит миг, когда надо остановиться и задуматься – о том, что даже из самой безвыходной ситуации можно найти выход, как отыскал когда-то он?..

Мы с дедом не виделись и никоим образом не пересекались с начала восьмидесятых. Общался ли он с моим отцом? Знал ли он вообще, что я давно живу в другой стране? Быть может, моя журналистская деятельность и литературное поприще послужили для деда основой решения о выборе наследника сего текстуального имущества?

Не надумав ничего лучше, привычным путем я направился в Лондонскую библиотеку полистать документы о событиях Второй мировой.

В читальном зале я провел почти весь день, закопавшись в сонмах всевозможной документалистики тех времен. Вскользь оставленная запись в воспоминаниях военного доктора Джерелла Паксмута, откомандированного в полевой госпиталь в Хагатне, весьма меня заинтересовала:

*... Утром субботы 21 октября поступил пациент – молодой парень, совсем еще мальчик. Его прибило волнами к берегу, он выглядел на удивление здоровым для человека, пробывшего в водах океана длительное время, что особенно контрастировало с изрядно подранной и истерзанной формой военного летчика. Тело его исхудало и обессилело, руки безвольно дрожали, но все время он оставался в сознании. Он*

*не смог объяснить, как попал на остров, бредил небылицами и фантастическими рассказами. Сколько судеб сгубила война [...] Учитывая сравнительно неплохое физическое состояние пациента, я решил отправить его ближайшим рейсом для реабилитации на материк, предварительно снабдив рекомендательным письмом для прохождения лечения у доктора Роджера Берхейма, глубоко мною уважаемого...*

О ком писал доктор? Был ли мой предок описываемым юношей из воспоминаний Паксмута?

Немного воодушевившись, я продолжил поиски. Имя дедда вскоре обнаружилось в списках военных летчиков, участвовавших в операции на Филиппинах. Также некий Роуд К. был отыскан мною среди пациентов клиники доктора Роджера Уилльямса Берхейма в журнале приемов за 1944 год. Все это казалось удивительным, вконец нереалистичным, но походило на правду – не в части приведенного дедом мистического вмешательства, конечно, – но по отношению к реальности военных событий, участником которых являлся мой предок.

Вернувшись домой, я решительно вознамерился показать дедовы мемуары Уиллу, моему соседу, коллеге и хорошему другу, вместе с которым мы пробивали путь в «Тауэр Мэгэзин». Психолог по профессии, Уилл всегда приятно удивлял меня профессиональным подходом и к журналистике – писал он тонко, искрометно и даже увлекательно. Мне хотелось выслушать его мнение как психолога, и его точку зре-

ния как журналиста и литератора. Последние несколько лет он неспешно писал книгу – что-то про психологию в экстремальных условиях выживания. Рукопись деда могла оказаться ему полезной в качестве материала для книги. Меня не покидало чувство, что какую бы мысль ни пытался донести до меня предок, я не имею права просто выкинуть его труд как мусор, не уделив должного внимания, только лишь потому, что самому мне не удалось оценить в полной мере его замысел.

Я позвонил Уиллу и попросил зайти. Не будучи, по всей видимости, сильно занятым, сосед бодро откликнулся на мою просьбу и вскоре заглянул. Без длительных предисловий я передал ему рукопись; устроившись на диване, Уильям Рингвуд погрузился в чтение, а я отправился готовить ужин, дабы не мешать – нам, людям творческих профессий, для концентрации нужен покой.

Нарезая сырое мясо для жарки, я предался воспоминаниям нашего знакомства с Уиллом в девяносто шестом, целых девять лет назад, в самолете, направлявшемся в Лондон. Я летел к Мэри, любимой мною тогда девушке. Решение покинуть Штаты было осознанным, но по-юношески дерзким. Во-первых, бравата, протест родителям, утомившим меня нескончаемым наставничеством. Лишь позже я осознал простую истину, что самая несущественная моя проблема в воображении родителей всегда раздувается до невероятных размеров. Осознал – и жить стало проще. Не уменьшилось

количество проблем, но о них перестали знать родители. Это утаивание оказалось более чем положительным – целее нервы у родителей, и, как следствие, у меня.

Во-вторых, покидая родной дом, я хотел самому себе доказать, что крепок во мне нестигаемый стержень. Уезжая, я пытался удержать остатки бывшего самолюбия хотя бы в собственных глазах – на родине мне не удалось добиться успеха ремеслом журналиста. Я устал от Штатов и тянулся к переменам.

Мне едва стукнуло двадцать, кровь кипела, фонтанировали амбиции, безрассудная решимость была ключом. За полгода, что Мэри провела в Лондоне, она сделала большой шаг в сторону успешной карьеры филолога, и я вождедел, по меньшей мере, повторить ее успех. Признаться, тогда я не на шутку вознамерился превзойти ее во всем.

Мэри снимала двухкомнатную квартиру со своей коллегой, – кажется, ее звали Дженнет. В отличие от Мэри, у Дженнет дела не пошли в гору, и через полгода она собралась вернуться домой. Квартира в Лондоне оказалась в полном распоряжении Мэри, и она, то ли от нежелания делить жилье с эвентуальным новым постояльцем, то ли от внезапно нахлынувших чувств ко мне, – что правдой ничуть не было, но самой трактовкой неимоверно мне импонировало, ибо подогревало внутренний огонь юношеского максимализма, – без промедления зазвала к себе, а я не преминул воспользоваться столь удачным для меня в ту пору приглашением.



Купив в тот же день билет на ближайший рейс, я собрал нехитрый скарб, наскоро распрощался с родителями, друзьями и коллегами – и был таков.

Я даже толком не припомню, из-за чего мы вдрызг разругались уже на третий день моего прибытия в Лондон. Полгода, разделившие нас с Мэри по разным мирам, настолько отдалили друг от друга, что мы разучились быть вдвоем и потеряли надлежащий навык совместной жизни. Поменялась она, поменялся, очевидно, и я. Любовь, что связывала нас ранее, предательски остыла и стремительно улетучилась; жалкие потуги подогреть потухшие угли страсти ни к чему толком не привели. Поводом для расставания послужили какие-то бытовые неурядицы, и мне пришлось обратиться к единственному в те времена знакомому мне, помимо Мэри, человеку в Лондоне – Уиллу, с которым я свел знакомство в пересекшем океан самолете, где мы по счастливой случайности оказались соседями по креслам.

Как сейчас помню те события. Мы беседовали в течение всего полета. Уилл был старше меня почти на десять лет. Он возвращался домой с конференции психологов (или как там это зовется в их «секте»?) и собирался податься в журналистику. Я же причислял себя к действующим журналистам, пусть и без значимых заслуг в портфолио, но с нескрываемым блеском в глазах. Нас с Уиллом мигом объединил интерес к литературной профессии и обоюдное желание работать в этой области. Без малого десять лет минуло с той по-

ры, как тесно переплелись наша дружба и профессиональная деятельность. Порой мне казалось, что Уилл был куда сильнее в журналистике, чем в психологии, но я не озвучивал ему своего мнения, боясь задеть – он в первую очередь считал себя психологом-профессионалом, который обладал еще способностями к журналистике. Впрочем, я был жутким в этой области скептиком, который ни разу за почти три десятка лет не посетил ни одного психолога, как и прочих «мозгоправов», так что вряд ли мое суждение можно рассматривать всерьез.

Уилл был обычный с виду британец – высок, статен, скрупулезен и деланно педантичен. Он жил в собственном доме на Кавелл-стрит с женой и двумя детьми. Весь полет из Штатов мы увлеченно беседовали, обменивались мнениями и опытом, делились замыслами. На выходе из самолета мы обменялись контактами с твердым намерением встретиться и обсудить планы штурма «Тауэр Мэгэзин».

...Разбежавшись тогда с Мэри, я позвонил Уиллу по телефону-автомату, и вскоре мы встретились в кафе. Стоило мне упомянуть о своем положении, как он настоял на том, чтобы я переехал к нему в свободный на тот период гостевой домик, где я в дальнейшем и обосновался. От какой-либо оплаты на первое время Уилл наотрез отказался, за что я ему безмерно благодарен – в тот период я не потянул бы проживания в Лондоне в собственном доме. Спустя несколько месяцев мы пересмотрели схему оплаты моего проживания

на взаимовыгодных условиях.

Будучи соседями, нам легко было согласовывать планы действий в сфере журналистики. Моя первая статья в «Тауэр Мэгэзин» была опубликована уже через три недели, Уилл задержался на полтора месяца. А дальше пошло-поехало. В поисках заработка я вскоре сделался корреспондентом местного ежедневника «Уикенд Таймс», где впоследствии вырос до автора нескольких разделов, включая рубрику о происшествиях; со временем суровый Глен Донахью выделил мне собственную колонку и в именованном «Тауэр».

С тех пор мы с Уиллом друзья не разлей вода.

– Собираешься спалить дом к чертям собачьим? – хохотнул Уилл, заходя в кухню и деланно отмахиваясь обеими руками от густого пара, вьющегося над сковородой.

– Поверь, дружище, такого знатного стейка а-ля Алан Руд ты еще не едал, – отозвался я бодро. – Через пару минут будет готово, отведаешь. Вина?

– Пожалуй.

Я разлил по бокалам красное сухое, закончил с готовкой, и вскоре мы продолжили разговор за обеденным столом, поедая сочное мясо со свежими овощами и запивая вином.

– Что скажешь насчет чтива? – поинтересовался я с долей скепсиса. – Да, сразу скажу, прежде чем ты обвинишь меня в бесполезной трате твоего бесценного времени, намерен я был в библиотеке, изучал кое-какие материалы. В общем, я убежден, что дед был участником той битвы. И, похоже, на-

счет прибытия на Гуам – тоже правда.

Уилл задумчиво кивнул.

– Расскажи мне о своем деде.

– Да, по большому счету, рассказывать-то мне особо нечего – я очень плохо его помню. Мне было лет шесть, когда мы перестали видеться. Дед служил. Отец считал, что дед после войны повредился умом. Видимо, из-за этой вот истории. – Я указал на рукопись. – Когда мы еще общались, дед часто пересказывал ее мне – про битву, японца, подводных обитателей. Очень отдаленно, но я припоминаю эти образы. Когда читал его рукопись – вспомнил многое из, казалось бы, навеки преданного забвению. Потом дед с отцом поругались, и больше мы не виделись. Вот и все, что я могу рассказать. Похоже, что-то есть в отцовском мнении о ненормальности деда, если честно. Бред сумасшедшего.

– Не совсем так. – Уилл пригубил вина. – Грань, отделяющая нормальность от аномальности, не имеет четкого определения. Представь себе какого-нибудь Дэвида Копперфильда в средние века – со всеми его фокусами. Сразу бы запылал, как Джордано Бруно. Он ведь чудеса творит, аки колдун. Если не знать, в чем секрет его фокусов, то он совершенно антинаучен и ненормален. И куда его сегодня, в лечебницу для душевнобольных?

– Тут все просто, – отмахнулся я. – Берем статистику: что в большинстве, то и норма. Если завтра у большинства вырастет третье ухо – это станет нормой. Нормальное гауссово

распределение никто не отменял.

– Статистика – коварная штука. Безоговорочно верить ей нельзя, но и совсем не верить невозможно. Иначе рискуешь кончить, как тот статистик, что утонул в реке, средняя глубина которой составляла всего один ярд. Сегодня ты считаешься нормальным, а завтра под воздействием определенных условий – стрессовой ситуации или пережитого горя – акцентуации твоего характера могут перерасти в расстройство. Война – это стресс, и какой! Множество смертей, страхов, потерь, переживаний. И этот стресс пережил твой дед. Он каким-то чудом выжил в описываемой битве. Это ведь чудо, самое настоящее. А сколько потом лет он жил с этими воспоминаниями? Каждую ночь, когда ему снились кошмары, – а они наверняка снились, уж поверь моему опыту, – он снова и снова вспоминал. И пытался понять, что же там произошло, думал, размышлял, надеялся сложить мозаику, обрабатывал эту информацию ежедневно и еженощно.

– Другими словами, ты считаешь все написанное дедовым вымыслом? Все-таки бредом?

– Все, что мыслится одним, может казаться бредом для другого, – уклончиво ответил мой коллега. – Каждый раз, когда ты вспоминаешь что-то надолго забытое, твой мозг как бы дорисовывает потерявшиеся детали картинки до ее минимально достаточной полноты. И в каждой такой дорисовке мозг создает что-то новое, чего не было ранее. А в случаях сильного нервного перенапряжения могут проявляться

так называемые конфабуляции, ложные воспоминания, которые настолько плотно вплетаются в ткань последовательного фактологического существования, что мозг не способен отделить, где имел место факт, а где – вымысел. Алан, эти дорисовки сознанием забытого прошлого происходят с каждым из нас, с тем самым статистическим большинством нормальных людей.

– Я, выходит, тоже придумываю свои же воспоминания? – пережевывая очередной кусок, весело спросил я.

– В каком-то роде, – не разделяя моего веселья, серьезно кивнул Уилл, ловко расправляясь со своей порцией. – В далеком детстве мы с Роном, моим братом, как и все дети, увлекались футболом. Тогда не было еще компьютеров, интернета, а до фан-зоны мы еще не доросли. Мы придумывали свои футбольные команды, рисовали «фотографии» игроков в обычных бумажных блокнотах. Я до сих пор помню фамилии многих из тех сочиненных нами игроков вымышленных команд. Нападающие – братья Кельман и Кейман Брюс, полузащитник Вассе Бассе... Из сезона в сезон мы меняли составы, тактические схемы команд, перерисовывали игроков – они старели, меняли имидж, длину волос, отращивали бороды и усы, – это были целые истории их жизней. С возрастом это увлечение прошло, блокноты были заброшены. – Уилл задумчиво улыбнулся. – Целая эпоха. Я прекрасно помню, как они выглядят, наши игроки. Это очень яркие воспоминания, четкие и детализированные. Я помню всех

своих любимчиков. И вот представь, отец лет пятнадцать назад, перебирая хлам в подвале, нашел один из давно выброшенных блокнотов с нашими футбольными рисунками. Когда я увидел то, что там нарисовано... Ты не поверишь, но это был просто ужас! Игроки-то те самые, я их узнал, но сами рисунки... страшные, корявые, кривые, какие-то недоделанные – я своих героев помню совсем другими, понимаешь? Мой мозг восполнил истертые временем воспоминания, дорисовал утерянные детали. Мои воспоминания за эти годы настолько сильно разошлись с истинной картиной, что мне самому было сложно поверить. Прими это – мы сами придумываем свои воспоминания.

– Я в детстве рисовал машинки, – вспомнил я. – То есть серьезные, как мне тогда казалось, модели, автомобили с большой буквы, «мускулистые автомобили». У американских мальчишек, в отличие от вас, британцев, в детстве были другие интересы. – Я с дружелюбной улыбкой похлопал Уилла по плечу. – И я тоже прекрасно помню, какими они мне представлялись грандиозными. Вырасту – стану дизайнером автомобилей в GM или Форде. Или даже открою свое автопроизводство. А незадолго до отъезда из дома родителей я нашел среди отцовской макулатуры несколько рисунков своих «шедевров». Ах-ха-ха, детское убожество, они были такие нелепые и нереалистичные, что мне прямо неловко стало. Давай-ка, друг мой, глотнем за наше инфантильное детство. – Я опрокинул бокал. Уилл с улыбкой последовал

моему примеру.

– Это все проявления домысливания мозгом того, что истерлось из памяти. Наш разум дорисовывает забытые детали, привносит что-то свое, идеализирует в том направлении, в каком нашему внутреннему «я» удобнее воспринимать окружающий мир. Каждый из нас – заложник такой ситуации, потому что мозг, при всей его необъятной емкости хранения, со временем извлекает детали и уничтожает их из памяти, окончательно стирает, высвобождая место для новой информации. Мы склонны забывать мелочи. И когда пытаемся вспомнить что-то давно забытое, мозг услужливо генерирует нам детали воспоминаний. Мы совершенно, абсолютно не объективны, поскольку все, что выводится наружу из глубин памяти, сотворено мозгом, а потому аподиктически субъективно.

– То, что все вокруг врут, я частенько замечаю, – заметил я с улыбкой.

– С научной точки зрения – да, все вокруг – вымысел. Большинство людей испытывало эффект дежавю, а он базируется на той же самой дорисовке. Это, по сути, интерпретация мозгом ряда ситуаций, имевших место в прошлом, с множеством забытых деталей, которые мозг любезно дорисовал, а затем, в результате анализа полученного комбайна из фактов и псевдо-фактов и сравнения с современным переживанием, находит столько общности, что и создается впечатление повтора событий. Почувствовав дежавю, ты точно



уверен, что ситуация тебе знакома, она уже происходила с тобой в прошлом, хотя сознательно ты можешь усомниться в ее реальности. И это, обрати внимание, может происходить вот так, на ровном месте, просто какие-то события вдруг так сложились. А если пропустить этот мозговой анализ через тяжелое переживание, стресс, усталость, то эффект может усилиться многократно. Проблема различения реальности и вымысла до сих пор актуальна и не изучена. Мы воспринимаем мир через наши органы чувств. И это всегда, в каком-то роде, вымысел. Есть много способов обмануть наши чувства – на этом основаны всевозможные иллюзии: оптические, слуховые, вкусовые. Ты представляешь себе окружающий мир таким, каким его ощущают твои органы чувств, которые не составляет никакого труда обмануть. Ты слышал про стокгольмский синдром?

– Когда людей захватывают в заложники, а они начинают сопереживать захватчикам? Насколько я знаком с темой, это довольно редкое явление.

– Да. И в этой связи очень интересно читать воспоминания переживших таковой захват людей. Воспоминания заложника о захватчиках теплые. Когда текст писался, автор уже тепло относился к агрессору. Но, с хронологической точки зрения, в самом начале заложник должен был испытывать негатив к нему. Он прошел через очень сильные переживания – опасение за свою жизнь, настоящий ужас, тревога из-за непредсказуемости событий, испуг, паника – очень глубо-

кий стресс. Но в воспоминаниях нам доступно мнение автора уже после того, как его боязнь переросла в эмпатию к захватчику. Когда мозг уже перестроился и агрессор обернулся соратником-другом. А это другая реальность, совсем не та, в которой еще не наступило сопереживание, а был только страх. В той, прежней, реальности присутствовали иные чувства, совсем другие представления и ощущения. И та реальность уже недоступна в момент, когда автор описывает свои воспоминания. Смена реальности у таких людей случилась за короткий период времени, молниеносно, не за годы, как у всех, как у меня с футболистами, а у тебя с моделями автомобилей. Наша реальность – перцептивная реальность; восприятие мира целиком и полностью основывается на органах чувств, информационно шумных самих по себе, к тому же подверженных значительному влиянию внешних факторов. Это для начала.

Уилл перевел дух и размял затекшие плечи.

– Второй момент – как мозг анализирует «сырые», необработанные данные, непрерывно поступающие из органов чувств. Здесь вносится своя осязаемая порция искажений, отклонений от исходных данных. Мозг – не какой-нибудь конечный автомат с прогнозируемым поведением. Все эти гештальты, ассоциации, память... В ту же корзину добавь генетическую память, инстинкты, гормоны и прочую химию. Результат мозгового анализа может оказаться настолько неожиданным, что квантовая суперпозиция физиков из парадок-

сальной в один миг становится логичной по сравнению со всем тем, что влегкую нафантазирует эта штука, – с улыбкой постучал пальцем по голове Уилл. – Наше восприятие мира не может быть целостным и истинным, это всегда в некотором роде ложь, искажение фактов – вернее, чего-то, что даже фактами назвать нельзя, потому что истинных фактов, по сути, не существует, есть лишь бесконечное число мозговых проекций этих как будто бы фактов.

– Врешь ты, вру я, врет вся семья, всему виной – наш мозг родной, – пошутил я. – Уилли, ни ученые, ни философы за две с половиной тысячи лет не смогли найти ответ, как работает эта чудо-коробка, вот и нам не к лицу переливать из пустого в порожнее, давай-ка лучше перельем кое-что получше, – мы уже заканчивали обед, и я разлил остатки вина по бокалам. – Тем не менее, согласишься, динозавры на улице нам не попадаются, и ваши любимые Лох-несские чудовища в озерах до сих пор не обнаружены, хотя мозг только что любезно нарисовал мне обе картинки вполне красочно. Мой дед, полагаю, был из нереализованных романтиков, которым всерьез чудится разумная жизнь на дне океана.

– Твой дед был романтиком, Алан, но не выдумщиком, – вновь не принял моего веселья Уилл. – Мне думается, имела место его встреча с так называемыми хранителями – в его новой реальности, которая сменилась достаточно резко, сразу после падения самолета. Заметь, как точно, дословно он пересказывает диалог на глубине. За те более чем полсотни

лет, которые прошли с войны, твой дед ежедневно вспоминал детали того разговора, воссоздавал его, невольно регенерировал. Обрати также внимание на ровный почерк и отсутствие помарок и исправлений. Это говорит о том, что данный экземпляр – совсем не черновик, записанный впопыхах по памяти. Листы едва заметно пожелтели, им не больше дюжины лет. Я думаю, твой дед переписывал текст не один раз, и данный экземпляр – результат многократного освежения в памяти тех событий. Значит, текст писался им опять-таки в новой реальности – в новейшей реальности, которая сменила ту, новую, поствоенную. Сначала резкая смена – как со стокгольмским синдромом, затем постепенная, обыкновенная, традиционная, что ли – как с твоими автомобилями и моими футболистами. Много ли осталось от исходного, первичного переживания в сорок четвертом, там, в водах океана? – Уилл замолк и повертел в руках рукопись деда, перелистывая страницы.

– Вот тут, – психолог ткнул пальцем в один из листов, – он упоминает страх глубины, который был у него еще до войны. Но текст, как мы можем предполагать, писался в его новейшей реальности, а был ли у него этот страх в прежней реальности, до описываемых событий? Были эти чувства истинны во всех его реальностях? – Психолог воззрился на меня, но я лишь риторически передернул плечами. – Ты прав, Алан, твой дед был романтиком. Допускаю, он мечтал доказать что-то – кому-то, себе или окружающим, – но, видимо,

всерьез его отказывались воспринимать. В его словах проглядывается нереализованный дух соперничества, зажатое, засевшее глубоко внутри желание высказаться. Коммуникация со стороны так называемых хранителей – это подсознательное мнение самого деда, его внутренний спор с чуждым ему окружающим миром, который не принял его реальности.

– Родные от него отвернулись, единомышленников он не нашел, – резюмировал я, – и дед придумал себе собеседников – подводных хранителей, в которых воплотил все непонятное и чуждое, а затем и вовсе вступил с ними в риторическую словесную распря.

– В полемику, – кивнул мой друг, слегка приподняв вверх указательный палец правой руки, – в полемику на том языке, который воспринимают обе стороны. В отличие от окружающего мира, который отказался от диалога.

– Положа руку на сердце, Уилли, если бы выпал такой случай, взялся бы ты лечить его?

– Не лечить, Алан, – картинно взмахнул руками психолог, – сколько раз тебе повторять! Но я бы с удовольствием провел с этим человеком несколько консультаций. Я уверен, это было бы крайне интересно и познавательно для нас обоих. В середине девяностых, когда я вел активную практику, у меня был один интересный клиент. Он в одиночку выжил при крушении пассажирского самолета. Погибли все пассажиры и члены экипажа, а он выжил, и даже не получил критических повреждений – лишь пару переломов и ссадин. То-

же, знаешь ли, одно из проявлений чуда. Он воспротивился огласке и какой-либо публичности применительно к своей персоне, не дал ни одного интервью, побеседовал лишь с представителями полиции и только по делу о крушении. Его направили на серию консультаций для психологической реабилитации, и так вышло, что однажды он попал на прием ко мне. Энтони Грэйдвелл. Удивительный человек, выживший в экстремальных условиях. Его история, мне кажется, в чем-то пересекается с историей твоего деда.

Уилл немного помолчал, отложив рукопись в сторону.

– Мы до сих пор общаемся с Тони. Когда он приезжает в Лондон, а это случается раз в несколько лет, он звонит мне, и мы пересекаемся. Я не могу назвать его приятным собеседником, но его судьба и его мироощущение весьма интересны. Именно после встречи с Тони я всерьез задумал написать книгу. Ты не поверишь, Алан, но удивительное рядом, и неординарные события притягивают друг друга – сегодня утром он звонил мне и предлагал встретиться за кружкой доброго эля в «Перспективе Уитби». Мне кажется, тебе будет полезно составить нам компанию.

– Не откажусь от знакомства с интересным человеком, – быстро согласился я.

– Вот и отлично. Тогда я позвоню Тони и договорюсь о встрече. Я хотел бы, с твоего позволения, показать ему рукопись твоего деда.

– Думаешь? – искренне удивился я. – А ему не покажет-

ся, что мы издеваемся, сравнивания его чудесное спасение с бреднями моего старого маразматика?

– Брось, – отмахнулся Уилл, скривившись. – Тебе все же следует больше верить людям, а не считать их всех идиотами.

– Не всех, дружище, не всех. И все же ты не заставишь меня поверить в динозавров в Темзе.

\* \* \*

Наутро погода решительно испортилась, и к обыкновенной в это время прохладной мороси прибавился обильный снег вкупе с крикливо завывающим по всем углам ветром. Плюсовая температура одновременно обращала хлопья снега в неуютно хлопающую под ногами кашу, и выбираться пешком на улицу навстречу всем перечисленным радостям не составляло ровным счетом никакого желания. За продуктами в ближайший супермаркет Сэйнсберис я отправился на машине – благо, магазин находился недалеко от дома, да и мог похвастаться приличной парковкой. Прогноз погоды на ближайшие дни не обещал значительных изменений, а еда, как известно, сама себя не приготовит, посему я решил не ждать у моря погоды.

Мой выдавший виды BMW без проблем завелся, что несказанно прибавило уверенности, и я неспешно покатил за покупками.

Покупателей в Сэйнсберис оказалось на удивление много, у меня даже создалось впечатление – так, мимолетная фантазия, – что продуктовое лобби приняло активное участие в подготовке долгосрочного прогноза мерзкой погоды. Конечно же, пришлось убить уйму времени в супермаркете, заполняя продуктовую корзину под завязку – лучше потерпеть один раз сейчас, купив все мыслимые продукты, потребности в которых, быть может, еще долго не возникнет, чем по необходимости, через пару дней, снова проходить все круги этого ада.

Отстояв очередь в кассу и, наконец, расплатившись, я не в самом лучшем расположении духа отправился к машине на открытую парковку. Погода к тому времени, словно вторя вектору изменения моего настроения, капитально испортилась: комья снега немилосердно стегали по лицу порывами услужливого ветра, ухудшая видимость на дороге и настроение в целом. Упаковав в багажник продуктовые пакеты, я забрался в салон, включил зажигание и принялся по старинке прогревать двигатель, заодно отогреваясь и вытирая струи таявшего снега с лица и шеи. Перед моими глазами сквозь белесую колеблющуюся снежную стену сновали автомобили, приезжая или покидая парковку. Мое внимание ненадолго привлек красный «Мини Купер», что неспешно передвигался, чуть пробуксовывая в серой каше, к выезду. Пропуская поток встречных машин, «Купер» двинулся задним ходом, его чуть повело юзом, и в последний момент перед тем, как



в моей голове пронеслась мысль о том, что не стоило ему активно маневрировать в опасной близости от других автомобилей, его задний бампер с легким «кря» прикоснулся к переднему бамперу моего БМВ.

Я обреченно выдохнул, понимая с неудовольствием, что день точно не задался, и вышел из теплого салона. Дверь «Купера» отворилась, и сначала из салона показалась стройная нога, обутая в туфлю на высоком каблуке (и это в такую-то погоду!), а затем и весь комплект: короткая норковая шубка поперечного кроя, бордовая юбка атласной ткани до колен, яркая помада, темные очки в пол-лица и экстравагантная прическа. Девушка приятной наружности, знающая себе цену.

Я молча осмотрел место «поцелуя» транспортных средств – похоже, оба бампера даже не треснули – и неспешно перевел взгляд на визави, неодобрительно качая головой. Девушка чуть наклонила голову, присматриваясь ко мне сквозь припущенные, совершенно не по погоде надетые, но, по правде говоря, добавлявшие шарма ее облику, зеркальные темные очки, что позволило мне увидеть ее большие красивые глаза, и я...

– Мэри?.. – удивлению моему не было предела. Это была она – та, что открыла мне Европу.

\* \* \*

Домой я вернулся спустя три часа и в столь смешанных чувствах, что с трудом припоминаю подлинную последовательность событий и потрясений после неожиданной встречи с Мэри. Мы не виделись почти десятилетие, и нам обоим, когда-то самым близким людям, нашлось, о чем поведать друг другу. Эпизод на парковке сразу же был предан забвению, да и погода тотчас перестала сколько-нибудь тревожить.

По обоюдному согласию мы направились в ближайшее кафе опрокинуть по чашечке кофе. И когда я только увидел Мэри, там, на парковке, и позже, сидя с ней рядом, слушая ее чуть низковатый голос с неспешными размеренными интонациями, созерцая идеальный макияж, ухоженные руки с ярким маникюром на элегантных пальцах, – все это незамедлительно всколыхнуло, казалось бы, забытые юношеские чувства. С годами она превратилась в чертовски привлекательную, женственную, да что там – сексуальную и желанную особу. Неоднократно я ловил себя на мысли, что, словно под воздействием гипноза, не могу отвести взгляда от ее ярких губ, таких живых и подвижных. Она то чуть прикусывала нижнюю губу, то широко улыбалась или приподнимала самый краешек в легкой усмешке, то плотно сводила губы в подобие окружности, невольно выражая свое отношение к обсуждаемой теме. В начале разговора Мэри сняла очки и положила их на стол, и я исподволь любовался ее голубыми глазами, изящно изогнутыми ресницами и дерзко подведен-

ными бровями. Ее внешний вид, поведение, жестикация и манера разговора явственно говорили о целеустремленности, самоуверенности в хорошем смысле и осознании своих сильных сторон.

Разговор протекал легко и непринужденно. Я рассказал о своей жизни и работе, она пересказала мне свою историю. После разрыва Мэри продолжила профессиональный рост в области филологии, почти три года она была замужем, но давно была разведена, имела ребенка – мальчика по имени Дэниел. Проще говоря, жизнь ее кипела и бурлила, она была успешной матерью-одиночкой, не только ни оставившей карьеру ради семьи, но и неумолимо продолжавшей продвигаться вверх по карьерной лестнице. Напротив меня сидела властная, сильная и целеустремленная женщина. Эти черты ее характера стали когда-то одной из причин нашего разрыва. Я, в силу эгоцентричности и свободолюбия, не захотел и не смог превратиться в бесхарактерную амебу без собственного мнения, и мы, словно двое альфа-самцов в одном львином прайде, не смогли ужиться.

Я не испытывал недостатка в женщинах. За девять лет в Лондоне я бывал в нескольких романтических отношениях – от мимолетных, на одну ночь, до бурных и страстных, длительностью от нескольких дней до четырех месяцев. Но ничего серьезного не вышло. Мне как будто не хватало капельки этой властности, которой было хоть отбавляй у Мэри, и новая вспыхивавшая страсть неизбежно вскоре затухала. И

каждый раз, что было в корне неправильно, и с чем я не мог ровным счетом ничего поделать, я рефлекторно сравнивал новую пассию с Мэри – не в пользу пассии. Однако появлявшаяся следом за каждым расставанием мысль вернуться к Мэри вскоре отбрасывалась разумом как бесперспективная, ведь финал такого возвращения был предсказуем.

Тем временем Мэри с увлечением поведала мне о сыне, его воспитании, о тех сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться по мере его взросления. Мэри сказала, что через полтора года им предстоит переход в среднюю школу, и что это очередной этап, к которому она уже начала морально готовиться.

В какой-то момент в моей голове сами собой сложились цифры. Средняя школа, 11 лет, полтора года, наша размолвка девять лет назад... Как-то даже засосало под ложечкой от внезапной догадки.

Я посмотрел на нее пристально и задал прямой вопрос, на который, к моему вящему удивлению, получил столь же прямой и четкий утвердительный ответ: да, ее сын является также и моим. Произнося это, Мэри ни словом, ни намеком не показала, что эта столь важная для меня информация хоть что-то должна значить для нее. Ну, отец и отец, что тут такого, дела давно минувших дней.

Но это мой сын! Сын, о котором я не ведал долгие девять лет, в воспитании которого не принимал ровным счетом никакого участия – я даже не знал о самом его существовании!

– Ты же сам ушел тогда, – заметила она с непринужденной улыбкой, – заявил, что мы не подходим друг другу и не можем оставаться вместе. Я лишь позже поняла, что беременна.

Боже мой, она даже не потрудились разыскать меня и сообщить, что я стану отцом. Своим безразличием, беспечно-стью и надменностью в этом животрепещущем вопросе Мэри на десять голов превзошла меня, переиграла на моем же поле.

В тот день я стал папой. А Мэри, как ни в чем не бывало, с невообразимой легкостью продолжала разговор, демонстрируя фотографии моего новообретенного сына. Резкие черты лица, острый нос, узкие брови – Дэнни так во многом походил на мое отражение в зеркале. Внутренне ожидая сопротивления с ее стороны, я уверенно заявил, что хочу встретиться с сыном, однако Мэри, вопреки моим опасениям, без всяких раздумий согласилась. Мы спокойно обменялись телефонами и адресами, и она определила день в конце недели, когда мне следовало к ним приехать. Мы еще долго сидели в кафе и общались, но все это стало совершенно не важным. Я – отец, и собирался познакомиться со своим сыном – вот что для меня внезапно обрело значение.

\* \* \*

Я приехал в «Перспективу Уитби» ровно к семи часам вечера, как было договорено, на такси, поскольку вечер пред-

полагал потребление спиртного. Уилл должен был встретиться с Энтони заранее, дабы обсудить какие-то личные дела и показать рукопись деда, и просил меня подъехать позже. Здесь, у берега Темзы, ветер дул немного сильнее, чем в глубине города, и легкие снежинки уже не просто кружили, а хаотично дергались из стороны в стороны под кратковременными его порывами. При выходе из автомобиля резко пахнуло речной свежестью.

Расплатившись с нагловатым таксистом, а вошел в паб. Место это было в большей степени туристическим, но, как говорили местные, довольно архаичным, и хозяева старались поддерживать древний пиратский антураж. Крюки на стенах, цепи, старомодные штурвалы – все это, безусловно, привлекало внимание.

По обыкновению в вечернее время паб был заполнен до отвала. Официантка любезно проводила меня наверх на террасу к заказанному Уиллом столику, располагавшемся в дальнем правом от входа конце зала. Уилл с собеседником сидели спиной к входу, обратив взгляды на открывающийся с террасы прекрасный вид Темзы и центра Лондона. Собеседником моего друга оказался окутанный дымом внушительных размеров трубки полный усатый мужчина средних лет в старомодной широкополой шляпе.

Заметив меня, Уилл широко улыбнулся и поднялся со стула в дружеском приветствии, после чего представил нас друг другу. Энтони окинул меня оценивающим взглядом и кив-

нул. Я занял место справа от Уилла, напротив его собеседника, оказавшись, таким образом, единственным из нашей компании сидящим лицом к входу.

Пока я изучал меню, Тони безмолвно продолжал дымить. Видимо, курильщик он был со стажем. Словно заметив это, Тони вынул трубку и впервые заговорил – низким и прокурренным голосом:

– Я курю табак уже сорок лет. – Он покрутил трубку в руках. – Этот бриар, кстати, старше сотни лет, и он – мое лекарство.

– Наука называет это гиперосмией, – пояснил Уилл. – У Тони повышенная чувствительность к запахам окружающего мира, табаком он как бы загрубляет сверхчувствительные рецепторы.

Подошла милая официантка. Я заказал классического английского эля, и мы продолжили беседу.

– В молодости меня пытались лечить, – добавил Грэйдвелл с усмешкой, – психологи, неврологи, психиатры, – даже в шизофреники практически записали с паросмией – у меня, видите ли, извращенное ощущение запаха. Если бы не табак... – Курильщик многозначительно помотал головой и снова глубоко затянулся, выпустив затем струю плотного дыма. – Да он же не верит, – обращаясь к Уиллу, хохотнул Тони, устремив на меня вытянутый указательный палец с огромным перстнем. Манеры далеко не идеального собеседника.

– На самом деле.., – начал было я, но Тони бесцеремонно

перебил: – Я докажу. Утром яичница, тосты с вишневым вареньем, блинчики и кофе с молоком. А вчера вечером было вино и мороженое... шоколадное.

Я закрыл распахнутый от удивления рот. Или этот маньяк следит за мной, или, черт подери, его феноменальные возможности выходят за рамки возможного.

– Но откуда?.. – задал-таки я просившийся вопрос.

– Запах, запах. Я чувствую запах, не так, как ты или другие. Мое восприятие запаха – это дар. Если угодно, нечто божественное или волшебное. Представь, каково это – чувствовать настроение жены через источаемый ею запах, понимать, когда ваша беседа ей наскучила, или когда ее сексуально привлек проходящий мимо пижон. Моя гиперосмия – пропуск за грань обыкновенности. Но это и проклятие. Как детектор лжи, ведь через запах я чувствую твои потаенные мысли, даже если в лицо ты мне лукавишь, Алан.

Невольно я отвел взгляд от этого страшного человека-полиграфа и увидел, как на террасу входит пара – лысеватый пузатый фронт под руку с дамой в длинном обтягивающем платье ниже колен, усыпанном блестками по всей длине. Они направились к столику в другой части зала. Роскошные волосы незнакомки рассыпались по плечам, закрывая лицо, я видел лишь грациозное изгибающееся при ходьбе тело и аккуратные ухоженные ножки. Дама была на полголовы выше своего страшненького хахала. Была в этом какая-то все-ленская несправедливость.



– Уилл, ты не говорил, что твой приятель засматривается на старух, – сквозь неприятный скрежещущий хохоток прохрипел Грэйдвелл, после чего оба моих собеседника обернулись на вошедшую пару, и хохот Тони смолк. В этот момент официантка принесла заказ, и я с удовольствием сделал первый большой глоток.

– Хм, – задумчиво протянул заядлый курильщик, внимательно рассмотрев новоприбывшую пару. – Вот он, современный мир. Мы не видим, что скрывается за пустой оболочкой, не чувствуем того, что внутри. Да в ней литры ботокса и силикона, десятки подтяжек и пластических операций. Эх, современный мир.

Ну да, ну да, подумал я с ехидцей, хирург виноват в том, что дар Энтони дал осечку.

– Ты веришь в Бога, Алан? – внезапно сменил тему Тони, не дав времени как следует насладиться его неудачей.

– Ну, это ведь личное дело каждого, – ответил я осторожно.

– Давай уж начистоту. Ведь мы собрались здесь на откровенный разговор. Апатеист что ли? Быть может, атеист?

– Скорее, агностик, – признался я нехотя. – Я верю в недоказуемую возможность существования некой силы – не Бога в его обычном понимании. Если говорить о конфессиях, то я вне их, я не хожу по воскресеньям в церковь, не молюсь в сторону киблы, не приношу жертв пантеону, ем свинину, работаю семь дней в неделю и не падаю на колени при звуках

грома. – Мне не хотелось продолжать тему онтологического аргумента, но я отдавал себе отчет в том, что для Тони понимание моего отношения могло определить дальнейшее развитие всего разговора. Какая-никакая осведомленность этого парня в шляпе в религиозных понятиях также наводила на мысль, что после произошедшего с ним в том самолете Тони провел немало времени в размышлениях о Боге и религии. Я также прекрасно осознавал, что, окажись я на месте Грэйдвелла, неизвестно, в какие религиозные дебри завели бы меня собственные размышления. Кроме того, мне никоим образом не хотелось оскорбить его чувств, что могло бы привести к молниеносному окончанию разговора, но и лгать тоже я не собирался.

– Все мы атеисты, – произнес Энтони, не обращаясь к кому бы то ни было, – пока не сталкиваемся с тем, что не объясняется разумом и наукой. А чудо? Откуда берется и чем научно объясняется чудо? Разве не религия есть способ принятия чуда? Религия появляется там и тогда, где и когда чудо не получается объяснить по-другому. Возьмем удачу. Что это – случайность или закономерность? Почему-то кто-то удачлив, а иной то и дело влипает в неприятности?

Тони снова глубоко затянулся. Я украдкой бросил взгляд на Уилла, безмолвно вопрошая, к чему ведет этот странный тип, но мой друг лишь едва заметно пожал плечами, отведя взгляд в сторону, говоря всем видом – общайтесь и наслаждайтесь.

– Мы видим лишь результат действия космических законов, – продолжал Грэйдвелл, – но не сами законы. В силу своего слабого развития и малой осведомленности мы не способны отличить случайность от закономерности. Если есть законы, по которым существует мир, то кто их придумывает? Быть может, этот вот внеконфессиональный Бог, Бог-математик?

Энтони смотрел на меня, не отрываясь, удерживая трубку в руке. Я понимал, что сейчас он старался поймать отголоски изменений в моем запахе, которые подсказали бы ему ответ без слов. Мне совершенно не хотелось углубляться в пустой спор на религиозные темы.

– Когда-то к божественному участию относили молнии с громом и смену дня и ночи, – тем не менее, напомнил я. – А сейчас за такие размышления быстро причислят к религиозным фанатикам. Я за то, чтобы не выносить поспешных суждений о причинах того или иного события, пока ему не будет найдено объяснение, описываемое математическими формулами, ведь именно в них и через них раскрываются тайны вселенной. Телеология уже давно подчинена математике.

– Математика начинается с аксиом и постулатов, – парировал Грэйдвелл. – С допущений. Евклида через две тысячи лет опровергает Лобачевский, Ньютона и Галилея – Эйнштейн со Шрёдингером. Ни одна из написанных формул не составляет первоистины, но работает лишь в рамках опре-

деленных допущений. Наука, какая-нибудь физика, может смотреть на остывший вулкан, наблюдать его каждый час каждого дня в течение тысячи лет, из чего сделать вывод, что он, по статистике, вулкан остывший. Математика запишет это в формулах. А вулкан возьми да пробудись. Конечно, и этому быстро найдут объяснение, а если оно не впишется в рамки старой парадигмы, ее запросто сменят на более подходящую. – Тони продолжал курить трубку, запивая иногда клубы дыма темным пивом. Уилл безучастно цедил свое. Видимо, разговор в таком ключе был ему не впервой.

– Статистика вообще страшная штука, – после паузы вновь заговорил Грэйдвелл. – До сих пор смотреть не могу современный прогноз погоды. Со всей их аппаратурой, измерениями, статистикой и математикой. Но ведь до сих пор тычут пальцем в небо! Моя бабка в деревне еще полвека назад интуитивно чувствовала, какая завтра будет погода – во всех тонкостях предсказывала, когда пойдет дождь, откуда будет ветер. Неграмотная была совершенно. Ни писать, ни читать не умела. А погоду одним местом превосходно чувствовала. – Тони хохотнул. – Алан, ну а как ты относишься к условному Джиму, который, убегаю от гепарда, перепрыгивает стофутовую пропасть? Это выпадает из статистики и не объясняется математикой и физикой.

– Вы с ним знакомы, Тони, с этим Джимом? – подстегнул его я. – Никто не видел того прыжка. Как относиться к тому, чего, вполне вероятно, вообще не было и быть не могло?

– Такие события происходят по наитию. Они не могут произойти в том мире, который тебе знаком. Но они порой происходят в окружающем мире, который ты продолжаешь не знать. Наитие, удача – это части тех законов, которые управляют окружающим миром. Но эти законы не описать формулами. Божественное, истинное нельзя обличить в слова, текст или формулы без потери части смысла или вообще искажения сути. Дотянуться до этих законов можно только через интуитивное понимание и восприятие, только тогда сохраняется смысл. На глубине нашего подсознания можно отыскать способности, которые позволят приблизиться к восприятию этих законов. А как добраться до этих способностей – беззаветной ли верой или непреклонной, несгибаемой волей, – никто не ведает, у каждого своя манера движения.

И снова он все сводит к религии.

– Не очень понимаю, при чем тут вера. Вера, какая бы то ни была, устанавливает шоры и навешивает ограничения в мышлении. Если Джим убегает от гепарда, то не вера в Бога поможет ему преодолеть пропасть, а банальный дикий страх и интуитивная реакция организма.

– Не только поступок, но любая мысль появляется не сама, ее рождение побуждено волей человека, именно воля определяет потенциал будущей мысли, саму возможность ее существования. Вера помогает определить траекторию воли, она не только и не столько ограничивает, сколько определяет

шаблон волеизъявления. Наше подсознание способно на все без ограничений. Совсем другое дело, что никто толком не умеет им пользоваться.

Вера – шаблон волеизъявления? Что за отсебятина? Черт с ним, этим религиозным фанатиком, пусть говорит, что ему вздумается. Развивать эту тему мне казалось определенно неразумным. Да и голова уже начинала гудеть от столь потного табачного дыма.

– Друзья мои, – внезапно вмешался Уилл, – подсознание – самая загадочная тайна во вселенной. Подсознание – сама вселенная. Тони, дорогой ты мой человек, хочу все-таки попросить тебя рассказать Алану твою историю. Это, несомненно, выходит за грань привычного, и лично я воспринимаю это как проявление чуда. – Если Тони, как он утверждал ранее, мог по запаху определять эмоции, то сейчас, похоже, я источал такие неодобрительные миазмы, что даже Уилл почувствовал мой настрой и поспешил сменить тему. – Алан, я уже ознакомил Тони с рукописью твоего деда, и мы обязательно поговорим об этом сегодня.

Я благодарно кивнул другу.

– Хорошо, Уилли. – Энтони скурил весь табак в трубке и принялся неспешно заправлять новую порцию. Его движения были четкими и выверенными, но нарочитые неторопливость с размеренностью производили на меня, человека с импульсивным и взрывоопасным характером, сугубо негативное впечатление. Я допил свой эль и знаками заказал у

официантки еще пинту.

– Я не сказитель, – начал Тони, пристально, испепеляюще взглянув на меня, вынудив отвести взгляд. – Приятной байки ждать не стоит. Каждое воспоминание – как будто новое переживание. – Он помедлил еще немного – то ли провоцируя меня, то ли подбирая слова. – Рейс ХХХ, восьмичасовой перелет через океан – тяжелый, даже со всеми этими удобствами в самолете. В ту пору уже запретили курить на борту воздушного судна, и каждый перелет превращался в настоящую муку. Все эти окружающие запахи страха, полного неведения, паники в салоне...

Грэйдвелл вновь замолк на какое-то время – наверное, повторно переживал произошедшие события.

– Это прозвучит безумно, но в тот день я с самого утра осознал, что ничем хорошим перелет не закончится. Запахи окружающего мира как будто кричали на меня, призывая остаться дома. Затхлость и спертость, ощущения смерти – как будто открыл холодильник, а оттуда пахнуло уже месяц как протухшей рыбой. И чем ближе к посадке, тем ощущение становилось гуще, концентрированной, что ли. Никогда со мной такого не было прежде. Это страшное ощущение. – Тони сделал очередную паузу, на этот раз раскуривая трубку. Официантка принесла мой эль, и я с удовольствием сделал глоток холодного напитка.

– Я никогда не испытывал такого ощущения, – продолжил Тони. – Никогда прежде. Я был молод, не понимал своих

способностей, а лечившие меня от моего, гхм, недуга, доктора лишь усугубляли мое восприятие мира, пытаясь превратить меня в параноика, шизофреника, больного на всю голову ненужного этому миру засранца. – Он невесело усмехнулся. – Я каждый день боролся с собой вместо того, чтобы принять свои особенности и превозмочь их, превратить из слабостей в мощь. Медицина – настоящее зло, она способна только калечить жизни.

Я мельком взглянул на представителя этой самой медицины – своего друга, но он никак не реагировал – или же всячески делал вид, что его не задевают слова Энтони.

– Я сел в тот самолет, – продолжался тем временем рассказ курильщика, – и мы полетели. Окружающее разложение, вся эта гниль, которую ощущал только я, приводили меня в... Я никогда не мог подобрать правильного слова этому понятию. Не страх, не ужас, не паника, не мандраж. Это что-то такое, что обволакивает тебя, окружает со всех сторон, сжимает с каждым мгновением все сильнее, занимает все свободное место, вытесняя окружающее. Ничего вокруг меня не осталось, все пространство и время заняло это ощущение. Вот уже нет ни самолета, ни людей, ни звуков. Где-то на пике моего погружения в эту невообразимую жуть самолет рухнул. – Грэйдвелл затянулся и вновь окутал себя концентрированным табачным облаком. Слушая его повествование, внимая неспешному ритму и своеобразному тембру голоса, у меня засосало под ложечкой.



– Находясь в этом пограничном состоянии, – продолжал Тони, – я был вне сознания, вне окружающего мира. Много позже, знакомясь с различной литературой, я осознал, что о таком состоянии говорили экзистенциалисты, описывая моменты знакомства с экзистенцией, своим истинным существованием. В этом состоянии ты можешь вступить в диалог с Богом – не просто призвать к нему, как это бывает обычно, просить, умолять, требовать или выторговывать по одностороннему каналу, а именно вступить в диалог. Любая религия учит нас, как обратиться к Господу, но не дает ответа, как превратить свой монолог к Богу в диалог. А это возможно только лично, и только за пределами повседневности, за пределами этого мира. – Тони задумчиво повел вокруг руками, словно пытался изобразить сказанное.

– Мой диалог состоялся в тот день. А когда я вернулся в сознание, в свое тело, все вокруг было в огне. Хаос и множественная смерть. А я лежал на земле, среди обломков воздушного судна, в окружении истерзанных и пылающих тел и груд металла, среди гари, копоти и грязи, измазанный чужой кровью. Из всех летевших в живых остался я один. – Тони улыбнулся, но в его глазах не было веселья. – В буддизме есть легенда о победе Гаутамы над богом смерти Марой, – продолжал он. – Говорится, что борьба эта длилась одну ночь, и оружием Будды была лишь медитация, а победой стало его просветление. Тот же выход за пределы мира, переход в пограничное состояние отчуждения. Описания таких состоя-

ний мы видим в книгах о христианстве, иудействе, индуизме. В том или ином виде мы находим их во всех религиях, в каждой из конфессий, в любой вере.

Я не был солидарен с Тони, но в глубине души готов был понять его. Когда с тобой происходит история, выходящая за рамки любого разумного объяснения, есть два пути – свихнуться или обратиться в ту или иную веру. Разум человека социального не может функционировать в волшебном мире чудес, что допустимо лишь для выбравших первый путь. Подсознание активно ищет объяснений, способных удовлетворить потребности разума в восприятии такого окружающего мира. Хочешь ли того или нет, но религия дает такое удовлетворение, которое не требует рационального, научного объяснения. Религиозными ортодоксами становятся столкнувшиеся с предельно необъяснимым, чудесным, волшебным. Даже неловко казалось переходить к теме дедовских бредней – того и гляди, весь религиозный запал Тони вырвется наружу в виде праведного гнева над глумливостью презренных и их внеконфессиональных внуков.

– Тони, – после затянувшейся паузы произнес я мягко, но решительно, – мне кажется, вам не по нраву припала рукопись моего предка, ведь там нет Бога, и я, если честно, сам не понимаю, с какой целью он написал ее.

– Как раз там есть Бог. – Грэйдвелл задумчиво покрутил в руках трубку. – Бог, Алан, – это не старик с белой бородой, добрыми глазами и всегда раскрытыми в приветствии

руками. Твой дед изобразил его в виде хранителей планеты. Лик Творца для каждого индивидуален. У твоего деда хватило смелости и наития вступить в диалог. А разве Бог не есть хранитель в привычном смысле? Выкладывая на бумагу свой диалог, неизбежно искажаешь суть. Если под хранителями твой дед подразумевал свое видение Бога, то обратное я не пойму – кого имеют в виду эти хранители? Группу людей, все человечество? Или животных? Может быть, органику, порождения углеродной биохимии? Вот вопрос, не дающий мне покоя – кто субъект в ответах хранителей твоего деда?

Тони умолк. Уилл безмолвно пил пиво. Я не знал, что сказать, и сосредоточенно впился в свой бокал. Краем глаза я заметил покидавшую зал пару, привлекающую мое внимание в начале разговора – невысокий пузан с пышноволосой стройной девушкой в обтягивающем платье. Каково же было мое изумление, когда мне удалось увидеть ее лицо – совсем не молодое, – разглядеть дряблую кожу на шее, умело замаскированные морщины – все эти признаки возраста. Пластическая хирургия с косметологией хоть и творят чудеса, но обратить старуху в девочку без различимых следов пока не могут. Тони был прав, когда не глядя, по одному лишь запаху, определил ее в старухи – да она мне в матери годилась!

Я перевел взгляд на Грэйдвелла – а он широко улыбался, глядя прямо на меня, и по всему его виду мне стало ясно, что он читал меня как открытую книгу. Я смутился и невольно

отвел взгляд.

– Рукопись деда, – попытался я сменить тему, – о чем говорит ее запах?

– В ней много запахов, – охотно переключился курильщик. – Как и в любом творении, что рождалось на протяжении многих лет, в нем сплелись мириады ощущений, чувств и переживаний автора. Но центральной линией, через все повествование, проходит запах, который трудно с чем-то спутать – твой дед искренне верил в написанное.

– Энтони, ну вы же понимаете, что от такой характеристики не горячо и не холодно? – запротестовал я. – Психически больной человек тоже на все сто процентов, без какого-либо сомнения, уверен в том, что он, скажем, Наполеон Бонапарт. Но такая уверенность ничуть не превращает желаемое в действительное.

– Истины вообще не существует, – кивнул Тони. – Задавшись целью, можно доказать право на существование самых противоположных, взаимоисключающих понятий – все зависит от мастерства доказывающего, качества аргументов и навыка их использования. Человеку можно внушить что угодно, призывая либо к разуму, либо к чувствам, либо к памяти – как к готовым гештальтам, так и непосредственно формируя нужные образы в голове, создав определенную атмосферу, обстановку, окружение. Уилли, конечно, специалист куда более сильный в этом вопросе, – Грэйдвелл многозначительно кивнул, – мой же опыт – как у подопытного

кролика: многие опробовали свое искусство на мне. Одни пытались дознаться, как же я остался живым и невредимым среди сотни трупов, не я ли устроил ту аварию. Затем, когда не до чего не допытались, передали меня другим, которые принялись активно лечить, сами не зная от чего. Но обмануть можно разум, сознание, а интуицию не обманешь. Как раз наша так называемая рациональность и заставляет нас отвернуться от интуитивного восприятия. К сожалению, мы утратили способность тренировать и развивать интуицию, но ведь лишь через интуицию можно достигать осознанного наития и озарения. – Грэйдвелл призадумался, глубоко затянувшись. – Уметь входить в пограничное состояние, поставить наитие под контроль, воспитать продиктованную чистой интуицией сильную волю к достижению и реализации – вот ключ к победе. Лишь в этом пограничном состоянии мы способны выйти за пределы самогипноза заблуждений, обманчивых истин и ограничивающей рациональности – в самом негативном смысле этого слова, – той самой псевдорациональности, которая заставляет нас безоговорочно довериться авторитетным мнениям и всю жизнь как зомби программироваться внушениями извне.

– Только отшельник – такой, как мой дед, – может отгородиться от внешнего воздействия, – сказал я, – но это значит пойти на изоляцию от общества, а это регресс. Если каждый человек станет отшельником, сколько останется человечеству – одно-два поколения? В наш век вокруг слиш-

ком много информации, чтобы всю ее проверить и перепроверить на личном опыте – а, значит, какие-то авторитетные мнения все равно должны остаться. Иначе мы с вами быстро придем к тому, что Земля плоская, и солнце вращается вокруг нее, ведь именно это мы наблюдаем изо дня в день, и не имеем прямой возможности убедиться в обратном.

– Бесспорно, Алан, – широко улыбнулся Энтони. – Да вот уже без малого пятьсот лет минуло с тех пор, как было предложено подвергать все сомнению в познании истины. А сколько авторитетных умов человеческих испражнялось на эту тему за прошедшие годы! Но что толку? Человечество за две тысячи лет не стало лучше ни на йоту. В попытках созидания мы лишь приближаем разрушение. Только за прошлое столетие мы имеем две крупнейших во всей истории человечества мировых войны, массовые геноциды, истребления целых народов, ядерное оружие, глобальное потепление, перенаселенность. Твоего деда в его повествовании весьма волновала эта тема – он рассуждает о созидании и разрушении. Он лично прошел через страшнейшую войну, и он мог себе позволить рассуждать об этом. Человечество не умеет созидать – как показывает история, все, чего касается рука человека, тяготеет к разрушению, опустошению и вымиранию. Единственный созидательный, по сути своей, фактор – это растения, ведь они создают саму жизнь, порождая кислород, производят органические вещества с запасом энергии для питания живых существ. А человек, увы, деструктивен по

сути своей.

– Пацифисты с «зелеными», знаете, не сильно способствуют улучшению мира. Не только человек деструктивен, – отмахнулся я, – вся природа такова. Дарвин, эволюция, круговорот веществ в природе, пищевая цепочка. Львы и акулы тоже не шибко-то миролюбивы. Не верю я в то, что можно следовать примеру растений, оставаясь человеком. Внутренняя суть хищника – нападать на жертву, а суть жертвы – от хищника прятаться.

– Весьма эгоистично и чертовски верно! – поддакнул Энтони. – Человеку свойственно на все вокруг навешивать маски и прятаться в собственных заблуждениях. Ровно об этом я и говорю – заблуждения окружают нас повсеместно, и мы безостановочно погружаемся в них. Кругом одни маски. Официантка тебе улыбается, но это вовсе не значит, что ей приятна встреча с тобой – она хочет казаться миролюбивой, потому что так принято. Любая религия приписывают божественному земной облик – это тоже маска. Придав неземному земные черты, мы как будто приближаем это, спускаем с божественного, недостижимого, на свой уровень. Но это совершенно лишнее. Я, например, сторонник гилозоизма, что ли, то есть обезличенного участия всей материи в том, что принято относить к божественному. Творец в каждом из нас, в каждой окружающей песчинке. И лишь мы сами виноваты в том, что практически не способны обратиться к неисчерпаемым ресурсам своего организма. Мы привыкли молить

Бога, потому что мы слепы и глухи, склонны относить все непонятное к ненормальному и аномальному. Я смотрю на эти заблудшие души, и порой мне хочется крикнуть во все горло: «Проснитесь, люди!». А они погружены в самогипноз, им не нужна самостоятельность, они хотят оставаться незаметными кирпичиками той или иной системы. Я бы хотел донести до людей суть их заблуждений, пробудить в них желание сбросить шоры, призвать их стремиться к диалогу с божественным, поверить в возможность чуда. Да никудышный из меня оракул. Вся надежда, – он повернулся к психологу, – на твою будущую книгу, Уилли – быть может, кому-то она да откроет глаза.

Вслед за тем мы перешли на обсуждение книги Уилла. Я, как фактический владелец дедовой рукописи, с легкой руки дал добро на ее использование в качестве материала для книги – наверное, это было лучшим, что мог ожидать мой предок. Вскоре наш разговор и вовсе перетек на обыденные темы, и мысли мои заняла Мэри и скорая будущая встреча – первая встреча! – с сыном Дэниелом.

\* \* \*

...Боль, жуткая, едва переносимая боль во всем теле. Сложно дышать, каждый вдох разгорается изнутри все пожирающим пламенем, распирая, словно вилами, грудную клетку. Хочу двинуть рукой, но окружающая темнота не да-



ет понять, удастся ли мне это. Не чувствую ни рук, ни ног, телом правит боль...

...Мерзкий свист, громкий и протяжный; он повсюду, нет от него никакого спасения. Свист, способный и мертвого поднять на ноги. В какой бы угол о него забиться?..

...Умиротворение, спокойствие, долгожданные тишина и покой. Счастье, если оно есть, должно быть таким...

\* \* \*

Неясный шум пробудил меня, я с трудом разлепил веки и вновь резко зажмурился, затем заставил себя медленно приоткрыть глаза – вокруг белые стены. Я в больнице?

Кто-то невидимый коснулся моей руки, и я откуда-то издалека услышал едва различимый голос:

– Слава богу, ты очнулся.

Вслед за словами перед моим взором появилось знакомое лицо – это была Мэри, она поцеловала меня в лоб. Так целуют покойников, подумалось почему-то. Я был рад видеть ее.

– Этой рай? – прошептал я совершенно чужим голосом, который с трудом не узнал.

– Если будешь так ездить – скоро там окажешься, – ответила она, улыбнувшись краешком губ.

Так ездить... Я вспомнил Лондонский мост, слякоть и непогоду. Вспомнил, как мчался к Мэри, погрузившись в мысли о первой встрече с сыном, как поздно среагировал на

внезапное изменение дорожной ситуации, тот злополучный мотороллер и последовавший вслед за тем полет в Темзу. Я помню тот миг и промелькнувшую мысль, что так не хочется терять жизнь именно сейчас. А потом – что было потом?

– Мэри, – снова просипел я, с трудом разлепляя губы, – я не помню ничего после того, когда я упал в воду. Как я оказался здесь?

– Скажи спасибо какому-то парню с берега – вытащил тебя из тонущей колымаги. Врачи едва смогли тебя откачать.

Помню, помню, помню – жуткий грохот, а затем вокруг вода, повсюду вода. Значит, если бы не этот неизвестный спаситель, не было б меня здесь?

– Просто чудо, что ты выжил.

– Да брось, – отмахнулся я мысленно, так как движения мои сковывали капельница, множество бинтов и даже гипс – полагаю, выглядел я в этот момент препаршиво. – Ничего чудесного в этом нет. Высота там небольшая, глубина тоже. – Говорить было тяжело, но я нашел в себе силы продолжить. – Самый центр мегаполиса – всегда найдется тот, кто не оставит в беде. Надо бы разыскать моего спасителя да отблагодарить. Он ведь жизнь мне спас – теперь хоть с сыном смогу познакомиться. – Я насилу улыбнулся, но по выражению лица Мэри догадался, что улыбка вышла так себе. Ирония была еще и в том, что кто-то вместо меня напишет в «Уикенд Таймс» о дорожном происшествии с моим участием. – Сомневаюсь, что мог бы не выжить в такой благоприятной

обстановке.

– Ты чертов скептик, Алан, чертов скептик. – Мэри скривилась и отстранилась от меня, но не отпустила руку, за что я был ей благодарен.

А ведь правда, я живу в ловушке своего скептицизма. Чтобы чудо произошло, мало в него поверить. Надо предоставить ему возможность случиться. Оказавшись в водах Темзы в запертом автомобиле, я был на волосок от смерти, и в какой-то момент я даже видел тот самый пресловутый тоннель, в конце которого был виден свет. Но я тут же поймал себя на мысли, что даже сейчас всеми силами отвергал чудо, стараясь объяснить это рациональными логическими построениями и умозаключениями. Иллюзия тоннеля ведь вполне объясняется современной наукой, поскольку при клинической смерти уменьшается подача к глазам кислорода, а концентрация углекислого газа, наоборот, повышается, что приводит к тоннельному зрению. Кажется, все дело в том, что у нейронов центрального и бокового зрения разные принципы передачи информации в мозг и разная скорость угасания, поэтому периферический обзор затухает быстрее, и человек воспринимает лишь изображение, попадающее на центральную область сетчатки глаза. Отсюда и возникает иллюзия темного тоннеля со светом где-то далеко впереди.

Рациональность отталкивает чудо – ему не место в такой среде. Чуду не место в цивилизованном обществе. С чудом мы постоянно соприкасаемся в детстве, но с взрослением от-

даляемся и отгораживаемся от него.

Кто-то может перепрыгнуть ров, спасаясь от разъяренного гепарда, кто-то – проплыть сотни миль в открытом океане за пару дней, кто-то – остаться единственным выжившим при крушении самолета.

Падая с Лондонского моста, я, возможно, ощутил новый, неизвестный мне запах. Погружаясь в воды Темзы, я, быть может, вступил в свой диалог со своими хранителями. Возможно, это было со мной, но я не помню. Нет, не так – мое сознание не помнит этого. Утыканное повсеместно социальными частоколами сознание старательно вытеснило бы эти воспоминания. Уилл говорил, что наше восприятие мира не целостно и не истинно – оно состоит из искажения фактов, и что сознание старательно дорисовывает утерянные фрагменты восприятия по своему усмотрению. Значит, какое бы чудо со мной не произошло, увешанное шорами внешних авторитетных мнений сознание способно воспринять лишь чужие образы, оно любезно выстраивает мою индивидуальную перцептивную реальность на свой лад.

Выходит, чудо – не мой путь.

Каждый варит кашу из своего топора. Что музыкальный дедовский поиск идеала в таинственной глубине, что грэйдвелловский поиск божественного участия с просеиванием окружающего мира через восприятие запаха – чего не делаешь, когда есть и личная цель, и потенциал для развития в себе навыков, способных обратиться в средство для дости-

жения этой цели?

Энтони говорил, что где-то там, на глубине человеческого подсознания, кроется в забвении та великая способность, та необузданная сила, что может проявить себя лишь в особом, пограничном состоянии – но только ли в момент смертельной опасности? Возможно ли, что раскрытие этой силы не позволило мне сгнить в тот день, но сознание в попытке вернуть меня в прежний – рациональный – мир заботливо вымарало все воспоминания об этом?

– Мэри, – произнес я тихо. Она крепче сжала мою руку, ее лицо снова появилось в поле моего зрения. В ее увлажненных глазах я увидел чувства – не смогу описать, что это были за чувства, но их было много, и они были натуральными.

– Мэри, я благодарен, что ты рядом. Побудь со мной. За девять лет я соскучился.

Она искренне улыбнулась, кивнула и поцеловала меня.

Я уверен, что у каждого свое предназначение. Тысячи дорог расстилаются перед нами, но только один путь ведет в направлении предназначения, и лишь на этом пути мы можем полностью раскрыться в своих истинных способностях.

Своего пути я еще не обрел. Но я уверен, что где-то там, на глубине и моего подсознания ждут под спудом своего часа те условные ниточки, которые, будучи тронутыми, приведут к постижению моего собственного пути.